

Было утро

Я читаю у Толстого 17 марта 1910 года такую простую запись, что не знаю, с кем ею и поделиться: «Дали человеку то, лучше чего он ничего не может себе представить. А он говорит: нехорошо, мало. Дали бабе холст — говорит: толст; дали потоне — говорит: дай боле. Да, если бы тебя, болван, не разбудили, ты бы всё спал и ничего бы не знал и не видал всё то, что теперь знаешь и видишь».

Дали нам жизнь, разбудили, а нам всё «холст толст». Всё нехорошо, всё мало — кому свободы мало, кому деспотии. Вот Лев Николаевич и не сдержался — болван, — говорит! Да так нам и надо.

И разом вспоминаю, как попала мне недавно книга умного, модного (как это нынче? — «брендового») писателя Ф. Бегбедера «Я верую — я тоже нет», и я завёлся уже самим именем книги.

Вот, думаю, — пижон, — какую ловушку читателю расставил. А уж когда разогнул прямо на случайной странице, как при гадании — что попадётся, — и вовсе разозлился (простите за детский глагол).

Вот послушайте: «Не будем говорить о глобализации, об отмене границ (понятия отечества, по сути, уже не существует), об унификации мира, о крахе коммунистической утопии... Всё это очень важно: крушение идеологий, религий, утопий. Но нет больше Бога, нет больше надежды на равенство между людьми, остаётся только потребление».

Когда бы это была обычная самонадеянность атеиста, и возражать бы не стоило. Но Бегбедер знает, что такое Церковь. Он мальчишкой вырос в вере, и собеседник его в книге — не интеллектуальный коллега, не чужой сердцу человек, а его духовный отец (католический епископ Жан-Мишель ди Фалько.). И вот на тебе, не побледнев, — нет Бога, нет отечества, нет надежды на равенство...

Да вроде и действительно — какое равенство? Как написано в одной из нынешних книжек соискателей премии «Ясная Поляна»: «грязнула свобода, и умные люди быстренько стали ставить высокие заборы, крепкие ворота и кодовые замки — в общем, стали крепче запирают двери» — от этого самого «равенства» и загородились. Мы прикончили надежду на равенство с какой-то

мстительной изобретательностью, чтобы уж ни у кого и сомнений не оставалось. И автор не зря отчётливо связывает крах коммунистической утопии с крушением религий. Они подлинно были неотъединимо связаны.

Мы хотели, хотели равенства! Только поставили его на место Бога и тем и приговорили. Без Него уж какое равенство — кто успел, тот и смел. И в результате остались с таким свободным Бегбедером: ни Бога, ни равенства — одно потребление. Только он-то ещё, кажется, смущается, и не хочет победы своего «открытия», и книгу пишет потому, что надеется на братское опровержение, на то, что кто-то вернёт ему детскую простоту и Бога: брось, старик, ты что серьёзно?

А мы всё «не наедемся» никак. Слишком нагуляли аппетит, пока за равенством бегали.

Так что оценивающий книгу Бегбедера в «Ex librise» Ян Шенкман, как это ни печально, про нас говорит, что мы «вынужденные христиане» (а Лев Николаевич и ещё лучше определял — «православные из приличия» — вот это уж сегодня подлинно про нас), как азербайджанцы и киргизы — вынужденные мусульмане, а буряты — вынужденные буддисты. Разве что не «вынужденные», а невольные. География и история сделали за нас выбор, во что верить, а душа и не пыталась спрашивать — приняла готовое. И мы уже и с верой обходимся вполне

потребительски, в профилактических целях: с непременно крещением (а вдруг? мало ли?), с картинным венчанием под кинокамеру, с освящением офисов и шестисотых «колесниц». От чего бы иногда от сытости и не побыть в «бедняках Христа»? Отец Сергей Булгаков вон ещё когда, и при более печальных обстоятельствах, уже увидел исток нынешнего недуга: «ищут нового барина, чтобы устроиться по-старому».

«Барин» у нас виден хорошо: руководители страны на Пасху в храме стоят — чего ещё? — давай, устраивайся по-старому. Но ведь Бегбедер не о видимости говорит. Он и сам, поди, по воскресеньям в храм ходит. Нет, тут задето нечто более болезненное, что в начале XX века беспокоило участников наших первых религиозно-философских обществ, мучило С.Н. Дурьлина, который, уходя в 20-е годы из священства, говорил о «подтаивании христианства». Что тревожило протоиерея Александра Шмемана в конце XX века и больно задевает искренние умы сегодня, так уж, коли не кривить душой, формула «Я верую — я тоже нет» известна в определённой степени в разный час каждому честному христианскому сердцу. И если что и злит (ещё раз простите за детский глагол!), то не сама формула, а таящаяся в ней и жадно принимаемая нами лукавая готовность красиво сдать, потакание себе, выговаривание себе «права»

не верить. Чего напрягаться-то, если нас, этих «тоже нет», так много?

Только мать-Церковь и не обещала даровых плодов. И с самого начала говорила, что «Царствие Божие силою нудится», и не страшилась слова «нудится», которое так плохо сочетается со светом «Царствия Божия». Но и это Бегбедер знает не хуже нас, потому что рос с Евангелием и под духовным доглядом.

Так чего же я хочу, к чему подступаюсь? А к тому, что я, может быть, ещё с месяц, да даже и неделю назад не стал бы братья за перо и опровергать горько правого писателя, а тянул да тянул бы свою лямку, «нудил» Царствие Небесное в своём приходском храме, как многие из нас. Не обманывая себя, но и не теряя надежды, как делают искусственное дыхание недавно выгашенному утопающему (а нас всех недавно выгасили): вдруг при очередном усилении дыхания и схватится...

С неделю назад не стал бы писать. А вот теперь отваживаюсь, потому что нечаянно пережил чувство, которым как-то и грех не поделиться.

Гостил с друзьями у своего товарища под Изборском. Было воскресенье. И хоть встал до литургии и мог бы поспеть на службу к изборскому Николе, но неудобно было перед спящими — не предупредил. Встанут, а меня нет — и свяжу им день. И пошёл себе

потихоньку по росной сверкающей траве в солнечных утренних яхонтах, изумрудах и хризопразах за деревню на давно облюбованный холм за Городищенским озером, напротив крепости, откуда летом любят пускаться в полёт парапланеристы.

Солнышко разыгралось вовсю, паутины сверкали, даже стрекозки нет-нет прочёркивали синеву. Из Малов, от Печорского скита уже звонили к «Достоинно» (там служат пораньше). А я потихоньку карабкался да карабкался вверх, измочив ботинки росой, и читал вслух утреннее правило, будто немного оправдываясь перед Богом, что не в храме, но вот, слышишь, Господи, молюсь. А назад, на Изборск нарочно не поворачивался, чтобы уж с вершины всё сразу увидеть. И как наверху чуть унял сердце и повернулся, так и вспомнил, как часто в минуты восторга перед красотой вырывалось из сердца прямо сразу с пением — так летела душа: «О-о-отче на-аш...» И так ликующе выговаривалось: «Да святится имя Твое», потому что в эти минуты красота и желанность этого Царствия были так очевидны.

А тут я как раз в утреннем правиле к «Верую» подошёл. И остановился — так оно само собой пошло говориться, словно и не читалось, а вот тут прямо и рождалось, называя видимое сейчас сердцем.

...Во единого Бога Отца Вседержителя. Творца небу и земли...

Творца вот этого синего высокого неба в весёлых воробьях и этой золотой осенней земли в дальних холмах, в седых от росы полях, в уже задеваемых желтизной лесах, которые ведь взялись же откуда-то «среди миров, в мерцании светил» в страшной своей красоте. Творца крепости, раскинувшейся отсюда так вольно, и игрушечной Корсунской часовни, и угадывающихся за озером Словенских ключей, потому что и они как будто сразу от века таинственно содержались в этом «Верую»...

Во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия... рождена, несотворенна, единосущна Отцу...

Подлинно Сына — такого же небесно всеобъемлющего, счастливо утреннего, подлинно предвечного и единосущного и тоже всегда и сейчас таинственно и явственно всегда содержащегося в этих небесах, полях, диких яблонях, в речке Сходнице, сияющей зеркальцем в тяжёлой оправе камышей.

Как же точны были Святые Отцы первого Вселенского собора там, в Никее, на берегу тишайшего из озёр, когда складывали слово по слову, день за днём полтора столетия этот «Символ», лепили его чутким слухом из своих вод и небес, из своей веры и молитвы, высокого эллинизма, горячих споров и прямых противостояний. Вот где слову возвращалось его небесное значение, его райское имя и Адамова глубина.

...И вочеловечшася...

Тянулась от Труворова креста по склону холма разноцветная цепочка ранних экскурсантов — будто бельё на верёвочке под лёгким ветром. Значит, и в них, вон там, и в меня здесь «вочеловечшася»? Из непостижимой высоты, из того, что до и вне истории, из неподвластной уму вечности и величия — в самую бедную малость для спасения этой малости. Из Создателя всего — в меня в мокрых ботинках и в то «бельё на верёвочке». Это было так близко, так горячо, страшно, радостно, тайно и совершенно ясно, что, казалось, и умереть сейчас было бы весело и просто.

...Распятого же за ны... и воскресшего в третий день...

Да, да, вот, наверное, почему я увидел это утро в увеличительное стекло, словно оно было первое. Это было утро Воскресения! Простого сегодняшнего календарного воскресенья и на минуту проступившего в нём того — единственного — «в третий день по Писанием». Как будто природа вскрикнула и засмеялась над смертью, и я нечаянно услышал этот радостный смех и за вседневной красотой осеннего утра увидел свет всеобщего Воскресения. И понял, что же это значит — «исповедую едино крещение во оставление грехов».

Ничто не загородит от безумия мира, от безнадёжности и торжества потребления, кроме этого непостижимого оружия —

единого крещения в живой воде длящегося Творения.

Устанешь, сто раз будешь отчаиваться и стоять на пороге неверия, тысячу раз уступишь соблазнам века и искушениям ставшего религией потребления, но если при этом не поддашься змеиному шёпоту хотя бы и всеобщего «я верую — я тоже нет», то непременно увидишь однажды это спасительное, укрепляющее, навек отменяющее сомнения детское утро Воскресения.

И я, почти торопясь, боясь расплескать сердце, заспешил к «аминю». Но я думаю, что, если бы и не договорил «Символа» до «жизни будущего века», да и вообще умолк после первого пробуждающего толчка утро простило бы меня. Потому что оно уже воскресло во мне и для меня и, может быть (Господи, прости!), и благодаря мне, этой моей и для меня самой неожиданной готовности принять и увидеть родной, привычный, насквозь известный мир в мгновенном свете будущего века

Прав, прав Лев Николаевич: «дали человеку то, лучше чего нельзя представить», разбудили... И какое уж «мало» — это бы вместить.

...Туристы тянулись от Гордища за весело бегущей впереди собачкой, словно она вела их всех на этой цветной верёвочке, кружились над озером утки, ища места поукромнее, день разгорался. Уже из чьего-то окна хватил бодрый «Маяк». Век готовился

диктовать Бекбедеру новые скептические страницы, но мне уже не хотелось соглашаться с ним даже и в очевидном.

Всё правда, да не всё Истина.

Верую, Господи, помоги моему неверию.

«Под бременем познания и сомнения»

Получил письмо от своего крестника и замечательного поэта М. Я посылал ему случайно попавшую мне на глаза в плюшкинской кладовой интернета фотографию, где он снят с товарищами у Союза писателей СССР (ну а раз СССР, значит, уже лет тридцать назад). Я знал с этой фотографии троих и числил их в параллельных вселенных, не ведая об их знакомстве, а может, и дружестве. Одного из них — Миши Поздняева — уже и нет на белом свете. «Мой» М. живёт в Белоруссии, другой товарищ с фотографии — на Дальнем Востоке — сведи-ка их на одной карточке и в одном сознании. Письмо было грустно:

«...все были эгоист ми... Трепчи себялюбивые, хотели пролезть вперёд, но ст ли никем. ни одного гения или д же крепкого т л нт , голос поколения. Ж ль. Никто никому ногтя не протянул. Т кие добрые и одинокие люди пыт лись сост - вить поколение и опоры, д не очень вышло.

К к ни стр нно, всех вывели в люди горб чёвское время,

после р зв л Союз все поте- рялись.

Были соб чьи бег . Ну мы те с мые псы. Вот только ни одного н стоящего лидер , и ничего вр зумительного, к к ГОЛОСА ЭПОХИ. Т к себе. Отлич лись только степенью и чит нности.

А сегодня из того поколения все просто выжив ют, печ - т ют всякие компиляционные книжки.

Т кое стр нное поколение ТАК И НЕ ВЫСКАЗАВШИХСЯ. Все — дружк от дружки под льше — из-з к кого-то соперничеств и неприязни».

Легко было сразу закивать. Я вон тоже в последние годы всё ждал прорыва на Пушкинском празднике поэзии в Михайловском. А оканчивался Праздник, и опять было видно — нет, не прорвались. Нарочно вот сейчас сниму с полки книжки, остающиеся у меня после Праздника, как после отлива — не надо специально в библиотеку идти — по одной-то полке всё виднее. Первым даже и до того, как к полке повернёшься, вспомнится покойный Гена Кононов из своих, псковских. Напишет в стихах свою обычную биографию, где всё как у всех: «Вот диплом мой и паспорт. Возьми, полистай не спеша. Всё живых я живее. И свет мой не сгинет во мраке. Я не бомж, господа. Говорят, у меня есть душа. Я плачу за жильё, состою в профсоюзе и браке», а закончит с острой горечью «Всё сложилось о'кей

на пути моём мягко-пологом, но — при этакое счастье — боюсь, не смогу подтвердить своего бытия после смерти пред Господом Богом». И вот поколение-то! — словно через плечо ему из других лет заглянет и подхватит строку Борис Скотневский из Тольятти: «Всё о'кей. Успеху — выше крыши. Лишь душа опять на самом дне». А перейдёт Борис через улицу и услышит от своего товарища Виктора Стрельца «Времена иные на коне — конкурентно улыбаются оне». А их третий товарищ из того же Тольятти Владимир Мисюк объяснит и причину:

*Умер Тряпкин. И Решетов
умер.
Уд вился п и ц и по ф милии
Рыжий.
Кушнер — star; Кубл новский
в П риже.*

*Акту льной поэзии жиж
Н полз ет во всю ширину.*

Как зло и верно — «актуальной поэзии жижка». Если бы подхватить тем же Геной Кононовым, сказало бы «сохраняясь в пределах освоенной роли без боли» и как приговор «Чёрной свечкой сгорает моё поколение, как вода утекают года».

Не вышло «поколения». «Не высказавшиеся». Одна «степень начитанности». Хоть в столбик выписывай:

*Код беспр вие ц рит
И зло угрюмо дышит в лиц ,
Боящийся не говорит,
А говорящий не боится.*

*Но есть и хуже времен —
Всеговерения к к цели.
Т кой свободе грош цен ,
К к и слов м н с мом деле.
(Виктор Кирюшин)*

*О, сколько книг, о, сколько
книг,
Стоящих чередой безликой,
Не песнь, безголовый крик
В ср венье с книгой той
великой.
(Леонид Др нко-Мойсюк)*

*З стр ницей стр ниц ,
З строкою строк .
Только букв верениц ,
Только плоскость лист
(Елен Т хо-Годи)*

*Н с уже не н йти. Мы спешим
р створиться в полночи,
Поз быв в темноте и себя,
и дорогу, и свет
(Ст нисл в ШР мко)*

*А н и боль — фигня:
Игр смягч ет кр ски.
Н м не прожить и дня
Без этой н шей м ски...
(Андрей Бессонов)*

*Куд ни глянь — повсюду
словес ,
Они роятся в воздухе
и в дыме.
Они звенят, тревож небес
Неверными окт в ми своими.*

*...О, сколько их! — и скверных,
и святых
Я выводил подобно Моисею
Из тьмы черновиков, из
з пятых —
В свободную, к к рукопись,
Р сею.
(Алекс ндр Х б ров)*

Из разных концов «Расеи» и разных лет и судьбы, а будто со-седы по общежитию.

* * *

И тут я ловлю себя на «при-ёме». Вижу, что тороплюсь под-твердить правоту своего товари-ща, что да, изговорились, но не выговорились, что кто ни печаль-ник, тот иронист, кто не иронист, тот притворщик. А голоса поко-ления нет. Умны, усталы, непри-язненны к времени. Хоть повто-рай за Лермонтовым:

*Печ льно я гляжу н н ше
поколенье,
его грядущее иль пусто,
иль темно.
Под бременем позн нья и
сомненья
в бездействии сост рится
оно.*

Вот и они — в бездействии, по-тому что неплодный ум, хотя бы и в послушной форме (а форма большинству легка) — всё только слова, слова, слова...

А потом оглядываюсь, о ка-ком поколении писал Михаил Юрьевич, кто эти «наши», томя-щиеся «под бременем познания и сомненья» и ахаю: да ведь это Пушкин, Баратынский, Языков, Веневитинов, Батюшков... И, смутившись, бросаюсь перечиты-вать отложенные, было, книги. И. счастливый, с лёгким серд-цем опровергаю себя. Выгово-рились! Выговорились! Да ещё как! Разве что не порознь. Это в целом времени целен и поэт, и

он — зеркало во всё небо. А ког-да вместо времени рассыпанный пазл, то и поэты вдребезги. Но, сложи эти осколки и увидишь, что и расколота жизнь — всё жизнь. И все отражения сложат-ся в неприглядную картину су-етного дня, где эта внешняя «не-выговоренность» и «отсутствие голоса поколения» и есть честное и вразумляющее свидетельство, что не поэты, а время сыпется «под бременем познания и со-мненья».

Вот тут бы и привести при-меры, как складывается небо из осколков зеркал. Да тут та тон-кость, что зло и поражение легко подтвердить эффектной цитатой, а добро и правду надо подтвер-ждать всем стихотворением. Злу довольно фрагмента, добро ищет контекста. И иногда, грешный человек, думаю на том же Пуш-кинском празднике: да отчего они читают по стиху — по два: что тут успеешь разглядеть? Не вернее ли было бы позвать двух-трёх поэтов да научиться слушать (к сожалению, это золотое качество уходит сегодня в слушателе — некогда ему, всё подавай тотчас с первой строки!) и скоро мы бы с удивлением увидели, что мы не оставлены Богом и поэзией. Что Муза — всё терпеливая русская баба и не бросает своих бегаю-щих за временем детей, а поперёк им договаривает свою правду до конца. Мы-то можем бегать и от-говариваться нехваткой времени, а Муза — всё дочь русской вечно-сти, а не утренних новостей.

Мы потому и не узнали «выговорившееся» время, что ждали от него прежней формы, а оно пришло неизнанным.

Тут, будь моя воля, я взял да и поместил всю книгу «Лазарева суббота» улетевшего из жизни Миши Поздняева, который улыбается со старой фотографии, словно говорит: «Вот сейчас вы услышите родное время», и читает свою блестящую комическую державинской хватки «Оду на 35-ю годовщину послания В.В. Жириновского Л.И. Брежневу»:

Лук в я толн , ну кто,
ск жи н милость,
в те годы Л.И.Брежневу
тис л!

Ну, честный С х ров, ну,
Солженицын хр брый,
ну, Евтушенко, не пойми
к кой.

Но что по тем лист м, к к
по п ркету шв брой,
водило Жириновского рукой?
Он вед л: всяк скворец н
том сидит сучочке,
кой выделил ему Творец,
но пр в поэт (из пятой снизу
строчки)
скворец в России больше, чем
скворец.

И тут посреди комизма и озорства мелькнёт нежданно дорогая, как признание, нечаянная проговорка:

...Не повелитель мух, не
персон ж из Брэм ,
не штоп лыщик небес, не
вешний звукоплёт, —
скворец в России тип к к
эмблем

не в жно что поёт, в жно,
что поёт.

Вот, вот! Уже одно то, что «поёт», как ни тщится время лишить русского скворца его голоса, — есть чудо и торжество. Смеётся русский поэт, а дела не забывает и не страшится искреннего слова и посреди буффонного текста — по опыту русской поэзии знает — оно не потеряется, как в его «Балладе о памятнике поэту Ерёменко на Лубянке»:

Н с не н до ж леть. Ж леть
никого не н до —
дик рей, дек бристов,
ди К прио между льдин,
д же м монтов; но когд
вымерз ет ст до,
все же должен ост тья
в музее хотя б один.

Они знали себе цену и, смеясь, раз уж время по совету «основоположника» предпочитало прощаться с прошлым смеясь, делали своё дело честно, как в его, поздняевской «Элегии о том, что он был «последним хорошим советским поэтом»:

Я последний хороший
советский поэт
(н тис л в НЛО Кул ков).

Я поскребыш, ос док,
подонок, послед,
я посол из стр ны дур ков...

...Я последний хороший
советский б лет,
я последний троллейбус и
звёздный билет,
бочкот р , последний звонок.
...Мой последний чит тель!

Ш мп нским з лей

*и з ешь бом рше свой зевок.
Потому что совок я по крови
своей,
и поймёт меня только совок.*

Да и те, кого я цитировал в комментариях к письму об «эгоистах» и «себялюбивых трепачах», если из контекста-то не выдёргивать, какой живой и подлинной стороной повернутся. Вон Борис Скотневский после «Всё о'кей. Успеху выше крыши, лишь душа опять на самом дне» как обвинит это же время, когда придёт в сумерках одинокий час прямого взгляда на жизнь:

*Пуск й оно пройдёт, к к
дым, —
Я сч стлив временем своим...
Поскольку в нём родные люди,
Мой воздух и моя вод ,
Мои хоть сч стье, хоть
бед , —
А больше их нигде не будет,
Не будет больше никогда .
И всяким —грешным и святым
Я сч стлив временем моим.*

Как просто, как «бедно», но ведь мы наедине-то с собой и не «поэты» и «себялюбивые трепачи», а живые беззащитные люди, которые меряют жизнь не поэзией своей и других, а простым утром и днём, а они — день-то и утро и при Экклезиасте, и при Жириновском, при Сафо и Марине Кудимовой те же. И как вслушаешься открытым сердцем, так и забудешь о «соперничестве и неприязни» и сразу видишь пронзительную единичность каждого мгновения

и само собою тем же Скотневским и выговорится:

*Но время т к отч янно
сквозит,
Что жизнь непопр вим
и прекр сн .*

Да и зачем непременно искать одежды «по времени» — придёт нужда, наденешь и то, что Катгулл нашивал и чего Херасков не стыдился, потому что жизнь не так тороплива, как мы, грешные — иногда старое-то платье и милее, и роднее. Наденешь, и словно времени-то и нет, а стоит на дворе эта самая желанная вечность.

*Я ищу нового слог ,
К к ищут новой любви.
Но ст рые рифмы сильны,
К к прежнего чувств оковы.
И ст рые ритмы звуч т,
К к голос зн комый и нежный.
И трудно не бросить взгляд
Н прошлое — пусть
безн дежный.
(Е.Т хо-Годи)*

Не безнадёжный он, не безнадёжный, а, может, напротив, в иные времена самый надёжный и есть, потому что вернее беготни удерживает сердце — форма-то ведь не только одежда, она — сердце времени.

Нам не хватает сетчатого зрения стрекоз, чтобы увидеть сад поэзии «невывговорившихся» лет. Это не поэты, это мы мечемся между тревогой утра и покоем вечера, между здоровой вечностью прежней истории и эгоистической однодневностью нынешней. А время без свидетелей

не остаётся. И пусть история не надеется, что она обманула нас информационным безумием, обиходом ежедневных убийств, всеобщим переселением народов — поэт, как пушкинский Пимен в одинокой келье «донос ужасный пишет» «И не уйдёшь ты от суда мирского, как не уйдёшь от Божьего суда».

Мы и Его, Создателя всяческих, пытаемся приручить и сделать бизнес-проектом, но сама же поэзия и не даёт, потому что она — Его дитя и «отроки благочестивые в печи» и «Даниил во рву львином» не устанут свидетельствовать об Истине и ставить будильник на «вечность».

Это, может быть, самая живая из ветвей нынешнего «древа познания», ставшего «древом жизни» — христианская поэзия. И не внешностью христианская, не прямо Божьим именем, а самим дыханием, тишиной преображённого слова, простого и глубокого, как троеперстие. Разогните Станислава Минакова:

К осени человек поним ет,
к к быстротечен смех,
К к л конично время, но
ж лов ться — кому?
К осени человек поним ет,
может быть, п че всех,
Что телегу тянуть с другими,
умир ть — одному.

Или его же:

Пост вь н полочку, где
Осип и Никол ,
Осенний томик мой: я т м
стоять хочу.

Мне около двоих родны
словес оковы,
Где — колоколом течь,
приколоту к лучу.
Реченья их — речны, свечение
— угодно
Тому, Кто чин д ёт
жури ле-слов рю,
Коль-ежли иорд нь жив ,
хотя подлёдн ,
Тогд и я, гордясь,
гл голю-говорю.

Откройте его товарища Юрия
Кабанкова:

Что с н ми ст лось? Отчего
т к спору,
Т к легкодумно лишены
Твоей опоры
Не прич щ емые хлебом
и вином?
Куд же мне теперь, ск жи
н милость!
К к пт х зимняя, души моя
кормил сь,
Доверчив я, под твоим
окном.
Морозный день стоял, к к
нгл, н пороге,
Хрипели грудью лесовозные
дороги,
А сердце бедное сп ло —
небесным сном...
Достойн Промысл высок я
з б в !
И, в стр хе цепenea, к к
соб к ,
Уст молитвою не смею
утружд ть,
Но стыдно к к о, Всенебесный
Боже,
Сей обреченности — когд
мороз по коже, —

*же, Ничуть не изменился. И
н м хорошо, К к р ньше, Про-
сто молч ть Друг с другом
Здесь, н еврейском кл дби-
ще, Когд живым сюд нельзя.
Суббот .*

Понимаю, что «подставляюсь» с таким, уж очень «нетребовательным» отношением к поэзии, где ни пушкинского «Пока свободою горим», ни мандельштамовского «Наши речи за десять шагов не слышны», ни кузнецовского «Времена прошли — словно не были. Мы пройдем насквозь — не задержимся.

Ничего от нас не останется. Что останется — будет лишнее». А всё-таки остаюсь при своём. Не всё на трибуне стоять, не всё Музе на баррикады со знаменем лететь, а иногда, пока времена «отдыхают», надо и дома побыть.

Слава Богу, что «не выговорились». Выговариваемся. Глядим, чего в душе накопилось в твёрдые времена. Простое всё, человеческое, но ведь наше же. Может, не «голос», а только шёпот, но не чужой, а нашего поколения. Значит, длимся. Живём.